Спасибо маме и папе, ростовским подругам —
Саше Марьяненко, Байковне, Марго Диденко
и Кате ЛБК Яковлевой — за поддержку.
Писателям Любаве Горницкой
и Оле Брейнингер за плечо.

Братьям и сестрам из мастерской
Захара Прилепина — за горящие сердца,
а Алексею Колобродову
за солдатское воспитание.

Гоше Майорову — за любовь. — Посвящения
ты не прочтешь, но ты о нем знаешь.

кровообращение

петров плевался жеваной бумагой. После уроков плакалась маме, она только:

— Хватит ныть, Маша. Ты же учительница!

Когда рыдаешь в очках, на стеклах остаются грязные разводы. Три тряпочкой или не три — не поможет. Как не помог шугаринг выйти замуж. Подружка уговаривала:

— Попробуй, тигрицей себя почувствуешь!

А я вспомнила про драную козу. И ревела так, что все очки заляпала. Черт знает зачем — у меня и колгот тонких нет, все с начесом. Холодно потому что, мне всегда холодно. Мама говорит, это от отсутствия любви. Я уверена — виновато кровообращение. Смотрю на себя утром и прям вижу голубой отлив на лице. Крови во мне почти нет — зарежь, и еле пол-литровую банку нацедишь.

То ли дело петушки. Я беру раз в месяц черного на рынке. Завтра суббота, значит, пора. Выбрала крупного, пока сажала в мешок, все руки изодрал. Царапины вздулись под

кожей, как сытые червяки. Отнесла домой, дырочек в мешке наделала — задохнется еще, пока к маме пойду.

— Маша, а что за царапины?

— Это я ручкой, чтоб успокоиться.

Мама только сёрбает чаем в ответ — ну нервная у меня работа, что поделаешь. Руками развожу — да ничего. А сама только и думаю, как там мой петушок на кухне. Домой вернулась, а он бьется, мешок ворочается, надувается. Сил готовить нет, а есть хочется — нашла в морозилке куриные палочки. Нажарила по-быстрому, ну а что, с кетчупом очень даже. Кинула петушку одну, он поклевал.

— Ах ты каннибал!

Завязала мешок и ушла в комнату. Там у меня роман, недочитанный. Мечтала себе, мечтала, глядь на часы — полночь. Пора. Натянула колготы, юбку, жакет, петушка в охапку и вперед, на кладбище. Благо тут рядом, через дорогу. Сто лет назад холерных вповалку складывали, равенство, братство, вот назвали кладбище Братским. Теперь чужих не хоронят, только своих подселяют. Сирень цветет у забора, запах с ног валит — хорошо. Петушок только совсем сник. Ну я его за шею, шею ножом, голову прочь. Пустила на могилку побегать, а сама слова волшебные шепчу — для кровообращения, для бракосочетания, для деторождения. Отшептала, петушок и затих. Подумала, может, порчу на Петрова попробовать навести, совсем надоел. Присела на скамейку, гуглить начала — советуют разное, да мороки много. Фотку распечатывать некогда, землю с кладбища набрать некуда, кресты выстругивать я просто не умею. Ну его, Петрова этого. Да и грех. Он же ребенок. Сидеть холодно, пора идти помаленьку. Чуть не забыла кровью губы смазать, вот же Петров, и тут па-

костит. Потянула петушка за лапу вверх, а ладонью обрубок шеи сжала. Течет, пузырится, еще теплая. Черканула по губам и сразу жарко стало, а ведь я и в бане мерзну. За оградой смутно маячат фонари, с памятников смотрят бледнолицые и равнодушные покойники. Все-таки зря я тогда физику выбрала, мне бы литературу преподавать.

За лето зарезала трех петушков — Авраама, Василия, Дмитрия. Как-то не по-людски, когда домашние животные без имени. Авраам был смирный, Василий пребольно клевался, Дмитрий особых примет не имел. Толку от резни никакого, правда. Согреваешься сразу, а наутро опять синева по коже. Женихов за плодотворное лето не прибавилось. Между Авраамом и Василием съездили с мамой в санаторий под Анапу. На танцы ходила — атас. Губы красные, платье атласное, каблуки опасные. Стою в сторонке такая вся красивая, а танцевать и не танцую особо. Музыка орет дурацкая, да и больно спляшешь на каблуках. Подкатил один как-то:

— Девушка, а вы учительница?

Рядишься-рядишься, а мурло интеллигентское и в потемках видать. Но отбрехиваться не стала, пожалела честь мундира:

— Физику преподаю.

— Палочки, наверное, трете. Эбонитовые.

Я глаза как выпучу, а он пятится и через ступеньку кувырком. Упал пребольно, должно быть, ну я переступила каблучком аккурат перед его носом — и спать ушла. Наутро соседка маме рассказывала, что на танцах перелом был. И верно — единственный гипс на весь санаторий. В столовой чуть компотом не поперхнулась, как увидела.

Дмитрия резала в конце августа, с ленцой так, больше от привычки, чем веры в волшебные силы. Петушок со-

всем вяленький, больной, что ли, не знаю. Луна белит верхушки деревьев, пахнет влажным сеном, кровь петушка по рукам как перчатка в облипку. Славная ночь, а ведь скоро опять работа. Петров, поди, вымахал за лето. Может, хоть потрогал кого на каникулах, влюбился, расстался. Страдай, фашист.

Первого сентября на небе хмуро. «Погуляли, и хватит», — сообщает природа. Мрачно натягиваю колготы с начесом, тру очки тряпочкой, вдаль на тучи гляжу. В школе цветов как на похоронах. Даже мне букетик кто-то сунул, вот спасибо. Сфоткать, соврать маме, что от мужчины? Смех только, пять гвоздичек. Нос сунула на линейку — восьмиклассницы пляшут в коротких юбчонках, нет да и сверкнет кто трусами — самодеятельность. Танцуйте, курочки, пока яиц не нанесете.

Гляжу в школьный дворик, позевываю. Тут замечаю — мужчина. Лоб высокий и сам высокий. Борода там, очки. Глаза синие, как горизонт. Сдохнуть можно. Пялюсь украдкой, а гвоздички в руках дрожат-то, трясутся. Встречаемся взглядами, в груди теплом валит, как от только что забитого петушка. В романах написали бы: «Ее сердце билось, словно трепещущая пташка». Так все, конечно, и было, только не в романе живем, понимать надо.

— Григорий Викторович! С Марией Алексеевной познакомились уже? Какой быстрый! — слащаво визжит директриса, и вечность застывает, как старый, засахарившийся мед.

Остальной день помню плохо. Кое-как провела пару уроков. Выудила зеркальце из-под собственного стула — броня моя с начесом. Выхожу, а за дверью, как там тебя, Григорий Викторович, прекрасный, словно все моря и океаны на свете. Шмыгаю мимо, понезаметнее, а он мне вслед:

— Мария Алексеевна!

Оборачиваюсь, а у самой колени от холода ноют. Жмурюсь, сглатываю. Эх, не так все нужно делать, не так.

— Вы ведь физику преподаете, да?

— Ага. Палочки тру. А вы?

— А я историк, палки у меня только копалки.

Хихикнула в ответ высоковато, сроду от себя таких звуков не слышала. Глядит, как корчусь, внимательно и ласково будто. Аж унылый беж стены синеет от его глаз.

— А давайте кофе выпьем, вы как, свободны?

Мямлю, а по телу кипяток шпарит. Уж не знаю, как понял, что согласна. Идем в кафе. Поспорил он, что ли, с кем, на слабо взяли? В учительской такие разве бабы? Нафуфыренные, есть и совсем молоденькие, только после университета. Кофе хоть обпейся с этими фифами. Разговор держу, но рот словно сам говорит, мышцы лица сокращаются, язык во рту двигается. Мозг подвох ищет, летает где-то. Григорий Викторович улыбается меж тем благонравно, так ему хорошо и приятно со мной якобы. Руку берет трепетно — а сам ледянее, чем я обычно бываю.

— Замерзли?

— Кровообращение такое. Лягушачье.

Домой проводил, ручки расцеловал на прощание, аж немели от холода ручки. На другой день шоколад с записочкой в ящик стола подложил: «Жду вас в два на стадионе, прекрасная Мария Алексеевна». На третий цветы были — да какие, каждая роза с полголовы. Вот сейчас бы сфоткать и маме отправить, но рука не поднимается, спугнешь счастье будто.

Учительская шепталась, конечно, как не шептаться — Григорий Викторович за мной ходит привязанный, как теленочек. Они все рядятся, а он только за мной. Ну я мно-

го не позволяла, а он все равно жениться позвал спустя три недели. Целуешь его и будто мороженым по губам елозишь. Шептаться перестали, заговорили в голос. Дескать, вы посмотрите на него, глаза ввалились, бородой оброс, кофе донести до стола не может — руки трусятся, пол в липких лужах. Я и не видела ничего, не замечала. Потом иду как-то по школьному коридору, а навстречу он — левый ботинок черный, правый рыжий. «Попал историк в историю», — комментировали местные остряки. Я ему:

— Григорий Викторович, ничего не замечаете?

— Кроме красоты вашей, Мария Алексеевна, ничего.

И глядит на меня, а глаза уж не море. Выражение такое встречала лишь однажды, в краеведческом музее. Там чучело лося в натуральный рост вылупилось стекляшками через мои ноздри прямиком в мозг. Вот и Григорий Викторович смотрит как мертвый лось. Главное, на меня только, ни на кого больше.

За неделю до свадьбы поплохел совсем, взял больничный. Директриса только охала на педсовете:

— Мужчины устроены тонко, понимать надо. Это на нас хоть паши.

Коллектив галдел:

— Извела мужика, ведьма.

Да какая я ведьма! Любовь просто. Сразу после педсовета набрала — не ответил. Пошла к нему, с апельсинами под дверью стояла — настоящая невеста. Не открыл. Заволновалась, родным бы его позвонить, да не знаю их номера. Мы и звать на свадьбу никого не планировали — нечего им. В дверь тарабаню со всех сил уже, кулаки посбивала, носки у туфель. Пакет разодрался, апельсины по лестничной клетке прыгают, катаются. Села, спиной об-

локотилась о дверь, подурнело. Нашла меня тетка-соседка, расспросила, охнула, позвонила куда надо. Вскрыли дверь — а он уже каменный.

Дальше темно, затем пластилиновый мультик — черная яма глотает красный кирпичик гроба, жует мечтательно, пузырится свежим черным холмом. Примеряет венки как ожерелья, пушится, хорохорится. Григорий Викторович непонимающе глядит с фото в рамке — что за парад, он же никого не приглашал. Вот и я не знаю, чего они все приперлись, милый.

В школе жалеть меня пытались, да только мне все равно было. Вышла в понедельник, шесть уроков отвела, настроение такое, ничего себе. Глупости это, время величина простая, физическая. По пространству ходим туда-сюда и по времени пойдем, если захотим. Прям печенкой чувствовала, не навсегда это. Могила пожует-пожует и отдаст, наигравшись. Кладбище, кстати, мое было, любимое. Он ведь из местных, у них забронировано — центр города, элитные места. Только без парковки разве что. Располагайтесь комфортнее рядом с дедушкой и бабушкой. Вот вам и столик, конфетка в оберточке — фантики, чур, самовывозом.

Мама его звонить стала. Славная бабка, только уж грустная больно. В сорокет родила, может, и у меня еще не все потеряно. Про результаты вскрытия какие-то мутные рассказала — все в порядке, только мертвый разве что.

— Да неучи они. У меня Петров тоже в мед собирается, а сам путает нейроны с нейтронами.

Мама его только ревет в ответ, глупая. Поболтали раз, другой, третий, я и трубку брать перестала, поперек глотки эти глупости. И ведь не объяснишь ей, как на самом

деле все обстоит, не поймет. Сама заскучала — сентябрь-октябрь, и без петушков заняться было чем. Теперь уж пора, только не в праздник этот бесовский, прости господи. Еще с дураками какими ночью столкнуться не хватало.

Новый петушок мне ладный достался, крупный. Пусть уж Леонид будет. Мешок под ним ходуном ходил, зверь так зверь. Ноябри у нас мягкие, но пакостные — вроде и плюс, а продерет до костей. Еще и ночь, и морось, и туман. Ну а мне что, оденусь потеплее, не привередливая. За оградой деревья-скелетики, хотя в городе еще листья. На кладбище времена года отчего-то быстрее сменяются, осенью раньше все оседает, но и весной скорее веселеет. Может, покойники хором ворочаются и в землю сырую разряды дают. Григорий Викторович теперь тоже старается, за коллектив он всегда горой.

Раньше пугливая была, резала сразу за оградкой. Теперь у меня свои люди здесь, все схвачено. Прямо по главной аллее, у могилки ребенка налево — год жизни и десяток лет безвременья, сон стережет щекастый ангел на гравировке.

— Баю-баюшки-баю, — аж пропела ему, не удержалась.

Петушок взволновался, запрыгал, еле сдержала. Ну ладно, пришли уже. Григорий Викторович с креста глядит радостно — заскучал, милый, не ждал так поздно гостей. Впрочем, рассиживаться впустую холодно, дай лучше фокус покажу. Вынула нож из кармана, чиркнула веревку у горла мешка.

— Знакомьтесь, Леонид, — так и представила петушка жениху, ну а что.

Леонид высунул голову из мешка важно, как директор. Скучно глотку резать стало — сколько можно глотки ре-

зать? Надо бить в грудь, чтоб было красиво. Стиснула его между коленями прям в мешке, хватила ножом. Бьется, бешеный. Я еще и еще, кудахчет, орет, полошится. Промахнулась раз и по икре себя полоснула — нож острый, ткань брючины и колготы под ней разошлись, у разреза мокреет, ветер. Леонид не сдается. Сатанею от боли, швыряю на землю нож, сворачиваю петуху шею голыми руками — ну тебя! Обмяк наконец. Фокусы она жениху показывает, как же. Стыд сплошной — как в глаза смотреть только? Положила ему петушка в голову — курятина тоже неплохо, раз с апельсинами не задалось. Ни крови не захотела, ничего — домой пора, с самой течет, не балуйся.

Бреду назад, от боли пошатывает, да и на душе, прямо скажем, погано. Позор такой, хоть в другой город переезжай. Прошла мимо ребеночка: «Ты глазки закрой, у тети вавка». Сам не умеешь, пусть ангелок закроет. С главной аллеи видно, как светят фонари за оградой, гирлянды на елочке. Город снова ждет, пусть раненую, но свою, родную. Всего метров двадцать, и жизнь вернется, шагаю легче, быстрее.

— Мария Алексеевна! Вы ножик забыли! — накатывает аллею эхом знакомый голос.

На местном рынке меня теперь полюбили, уступают в цене. Виданное ли дело — раз в неделю петуха беру. Несу в подарочек, режу голову — ученая стала, не выпендриваюсь. Петушок затихает, мы разговариваем час-другой. Кругом красота, луна, а то и снег ляжет, глазам аж больно от серебра. Романтика такая — где там романам. Может, и ребеночек скоро будет, кто знает. Только согреться, я никак не могу согреться. Что поделать — кровообращение такое.

невеста

в белом облаке оборок, перебирая кружева тонкой рукой, источая смиренное счастье, сидит моя невеста. В подступающих сумерках иконописное лицо маячит, как далекая луна. Сглатывая песню, застрявшую в горле, я подхожу. Нос вровень с моим пупком, цепкие лапки расстегивают ремень, пуговицу, ширинку. Мягкие губы, мокрый язык, кожаные ребра нёба. Лукавый зрачок подглядывает за мной из-под опущенных ресниц, я сжимаю затылок, путаюсь в светлых волосах, кричу. Хочется плакать. Наклоняюсь для поцелуя, замираю, гляжу в глаза. Теперь моя очередь. Ныряю под юбку, отодвигаю трусики, нахожу то, что искал.

Пятнадцать лет назад это самое платье надевала другая белокурая девочка. Ее руки я просил на коленях. Наша свадьба с тамадой и икрой стоила мне двух лет кредита. Наш брак стоил мне счастья. Но иногда, сквозь немытую сковородку, побежденную гравитацией грудь, мое горькое

пьянство, ее бесконечные, солью пропитанные упреки проступал ангел в белом. Когда она шумно сплевывала у ЗАГСа, затянувшись сигаретой, топорщилось острое, золотистым пушком покрытое плечо. Волочился, собирая осенние листья, подол. Пухлые губы серьезно шептали: «Люблю». Теперь шепчут другие. Бедра качаются, кто разберет, где чьи, злой долгий оргазм, поцелуй. Не глотаю, хватаю с пола бутыль ликера, взбалтываю все вместе во рту, тонкой струйкой передаю новой невесте в рот. Глотает, улыбается, до кошмара любимая, моя.

Ликер в высокой бутылке стоял в серванте с самой свадьбы — все выжидали какой-то повод, не знаю там, новоселье. На рождение дочки открыть забыли, да и жене было нельзя. Вот и пьем теперь с Сашей за нашу любовь. Саше столько же лет, как моей бывшей жене, когда я начал за ней бегать.

В ремонтное дело Сашу привел отчим, Арсен. Не выдержал бестолковой болтанки после девятого класса. Пробовали вместе класть плитку, по худобе и слабости помощь от Саши была никакущей — два-три часа активной работы стоили ночного скулежа от боли в костях и мышцах. Арсен разозлился, сдал сварщикам, те напоили водкой в обед, Сашу отключило, приехала скорая. Неделю спустя Арсен притащил крошку ко мне — шпаклевать не варить, куда деваться, справится. Я давно торчал Арсену червонец, было стремно, согласился учить Сашу. Следующую неделю об этом жалел — с учетом времени и нервов отдать долг дешевле. Рукой Саша совершенно не владеет, к тому же левша. Смешивать составы тоже не получалось, зверек едва понимает, что такое пропорция. Переделывал, сердито сопя, в ответ только хлопанье глазками:

— Дядь Дань, не выгоняйте, меня папка прибьет.

Да я твоему папке всю двадцатку буду должен, если от тебя откажусь. Так и протаскались вдвоем месяц, пока у Саши не стало получаться. А тут и заказ большой свалился в коттеджном поселке рядом с городом. Сделайте все за неделю, хоть ночуйте тут, вон матрас надувной, вода, газ, электричество. И мы ночевали, вечерами цедили пиво под звездами, закинув в него мяту с соседнего участка. Прыснул Сашин смешок: «мохито», — повеяло морем и хитином. Окрестная степь, покрытая наростами новых домов, гудела от ветра. Будто невзначай, шутки ради, Саша вытягивает свои длинные, свежим загаром занявшиеся ноги поверх моих ступней. От тяжести этой невесомой, со смертью жены забытой, от бесстыжих смешков, от всего скотства происходящего перед глазами пылали звезды. «Ну и шельму ты вырастил, Арсен», — только и успел подумать, как Саша уже передо мной на коленях. На рассвете повел в поле, кутал в курточку, целовал мурашками покрытый загривок.

Саше бы подружиться с Леной, моей дочкой. Ей тринадцать, копия матери, живет у тещи. Та исправно науськивает, как содрать с меня побольше, а я и плюнул давно — все ж с бабушкой лучше, чем у меня. Вкус у Лены изящный, думает в худучилище поступать, как я когда-то. Потом вышку на философском получил. Эх, порочная молодость гуманитариев, сгинула, уплыла. Женился, ребенка сделал, пошел в шпаклевщики. Социально приемлемая наклонная. И только изредка, как испарина на лбу, пробегала тень настоящего — закатное пожарище, изящное запястье, смерть, чума.

Двенадцать лет прошли в этом тумане, тупел, заливал глаза. Когда-то тонкая моя Людмила грубела, вертлявая